

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Эдмунду Клерихью Бентли</i>	3
Глава I. Два поэта в Шафранном парке	7
Глава II. Секрет Гэбриела Сайма	20
Глава III. Человек, который стал Четвергом	31
Глава IV. Повесть о сыщике	46
Глава V. Пиршество страха	59
Глава VI. Разоблачение	70
Глава VII. Необъяснимое поведение профессора де Вормса	81
Глава VIII. Рассказ профессора	93
Глава IX. Человек в очках	109
Глава X. Поединок	129
Глава XI. Преступники гонятся за полицией	150
Глава XII. Земля в анархии	161
Глава XIII. Погоня за Председателем	182
Глава XIV. Шестеро мудрецов	197
Глава XV. Обвинитель	212

*Эдмунду Клерихью Бентли**

Клубились тучи, ветер выл
и мир дышал распадом
В те дни, когда мы вышли в путь
с неомраченным взглядом.
Наука славилась свой нуль,
искусством правил бред;
Лишь мы смеялись, как могли,
по молодости лет.
Уродливый пороков бал
нас окружал тогда —
Распутство без веселья
и трусость без стыда.
Казался проблеском во тьме
лишь Уистлера вихор,
Мужчины, как берет с пером,
носили свой позор.
Как осень, чахла жизнь,
а смерть жужжала как комар;
Воистину был этот мир
непоправимо стар.

* © Перевод. Г. Кружков, 2005.

Они сумели исказить
и самый скромный грех,
Честь оказалась не в чести, —
но, к счастью, не для всех.
Пусть были мы глупы, слабы
перед напором тьмы —
Но черному Ваалу
не поклонились мы.
Ребячеством увлечены,
мы строили с тобой
Валы и башни из песка,
чтоб задержать прибой.
Мы скоморошили всю
и, видно, неспроста:
Когда молчат колокола,
звенит колпак шута.

Но мы сражались не одни,
подняв на башне флаг,
Гиганты брезжили меж туч
и разгоняли мрак.
Я вновь беру заветный том,
я слышу дальний зов,
Летающий с Поманок
бурливых берегов;
«Зеленая гвоздика»
увяла вмиг, увы! —
Когда пронесся ураган
над листьями травы;
И благодатно и свежо,
как в дождь синичья трель,

Песнь Тузиталы разнеслась
за тридевять земель.
Так в сумерках синичья трель
звенит издалека,
В которой правда и мечта,
отрада и тоска.
Мы были юны, и Господь
еще сподобил нас
Узреть Республики триумф
и обновления час,
И обретенный Град Души,
в котором рабства нет, —
Блаженны те, что в темноте
уверовали в свет.

То повесть миновавших дней;
лишь ты поймешь один,
Какой зиял пред нами ад,
таивший яд и сплин,
Каких он идолов рождал,
давно разбитых в прах,
Какие дьяволы на нас
нагнать хотели страх.
Кто это знает, как не ты,
кто так меня поймет?
Горяч был наших споров пыл,
тяжел сомнений гнет.
Сомненья гнали нас во тьму
по улицам ночным,
И лишь с рассветом в головах
рассеивался дым.

Мы, слава Богу, наконец
пришли к простым вещам,
Пустили корни — и стареть
уже не страшно нам.
Есть вера в жизни, есть семья,
привычные труды;
Нам есть о чем потолковать,
но спорить нет нужды.

Глава I

ДВА ПОЭТА В ШАФРАННОМ ПАРКЕ

На закатной окраине Лондона раскинулось предместье, багряное и бесформенное, словно облако на закате. Причудливые силуэты домов, сложенных из красного кирпича, темнели на фоне неба, и в самом расположении их было что-то дикое, ибо они воплощали мечтанья предприимчивого строителя, не чуждавшегося искусств, хотя и путавшего елизаветинский стиль со стилем королевы Анны, как, впрочем, и самих королев. Предместье не без причины слыло обиталищем художников и поэтов, но не подарило человечеству хороших картин или стихов. Шафранный парк не стал средоточием культуры, но это не мешало ему быть поистине приятным местом. Глядя на причудливые красные дома, пришелец думал о том, какие странные люди живут в них, и, встретив этих людей, не испытывал разочарования. Предместье было не только приятным, но и прекрасным для тех, кто видел в нем не мнимость, а мечту. Быть может, жители его не очень хорошо рисовали, но

вид у них был, как говорят в наши дни, в высшей степени художественный. Юноша с длинными рыжими кудрями и наглым лицом не был поэтом, зато он был истинной поэмой. Старик с безумной белой бородой, в безумной белой шляпе не был философом, но самый вид его располагал к философии. Лысый субъект с яйцевидной головой и голой птичьей шеей не одарил открытием естественные науки, но какое открытие подарило бы нам столь редкий в науке вид? Так и только так можно было смотреть на занимающее нас предместье — не столько мастерскую, сколько хрупкое, но совершенное творение. Вступая туда, человек ощущал, что попадает в самое сердце пьесы.

Это приятное, призрачное чувство усиливалось в сумерки, когда сказочные крыши чернели на зареве заката и весь странный поселок казался отторгнутым от мира, словно плывущее облако. Усиливалось оно и в праздничные вечера, когда устраивали иллюминацию и китайские фонарики пылали в листве диковинными плодами. Но никогда ощущение это не было таким сильным, как в один и доныне памятный вечер, героем которого оказался рыжий поэт. Впрочем, ему не впервые довелось играть эту роль. Тот, кто проходил поздно вечером мимо его садика, нередко слышал зычный голос, поучавший всех, в особенности женщин. Кстати сказать, женщины эти вели себя очень странно. Исповедуя передовые взгляды и принципиально протестуя против мужского первенства,

они покорно слушали мужчин, чего от обычной женщины не добьешься. Рыжего поэта, Люциана Грегори, стоило иногда послушать хотя бы для того, чтобы над ним посмеяться. Старые мысли о беззаконии искусства и искусстве беззакония обретали, пусть ненадолго, новую жизнь, когда он смело и своенравно излагал их. Способствовала этому и его внешность, которую он, как говорится, умело обыгрывал: темно-рыжие волосы, разделенные пробором, падали нежными локонами, которых не постыдилась бы мученица с картины прерафаэлиты, но из этой благостной рамки глядело грубое лицо с тяжелым, наглым подбородком. Такое сочетание и восхищало, и возмущало слушателей. Грегори являл собой олицетворение кошунства, помесь ангела с обезьяной. Вечер, о котором я говорю, сохранился бы в памяти обитателей из-за одного только необычайного заката. Небосклон оделся в яркие, на ощупь ощутимые перья; можно было сказать, что он усыпан перьями, и спускаются они так низко, что чуть не хлещут вас по лицу. Почти по всему небу они были серыми с лиловым, розовым и бледно-зеленым, на западе же пылали, прикрывая солнце, словно оно слишком прекрасно для глаз. Небо тоже опустилось так низко, что исполнилось тайны и того невыразимого уюта, которым держится любовь к родным местам. Самые небеса казались маленькими.

Я сказал, что многие обитатели парка помнят тот вечер хотя бы из-за грозного заката. Помнят

его и потому, что здесь впервые появился еще один поэт. Рыжий мятежник долго властвовал один, но именно тогда наступил конец его одинокому величию. Новый пришелец, назвавшийся Гэбриелом Саймом, был безобиден, белокур, со светлой мягкой бородкой, но чем дольше вы с ним беседовали, тем сильнее вам казалось, что он не так уж и кроток. Появившись, он сразу признался, что не разделяет взглядов Грегори на самую суть искусства, и назвал себя певцом порядка, мало того — певцом приличия. Стоит ли удивляться, что Шафранный парк глядел на него так, словно он только что свалился с пламенеющих небес?

Грегори, поэт-анархист, прямо связал эти события.

— Весьма возможно, — сказал он, впадая в привычную велеречивость, — весьма возможно, что облака и пламя породили такое чудище, как почтенный поэт. Вы зовете себя певцом законности, я же назову вас воплощенной бессмыслицей. Удивляюсь, что ваш приход не предвещали землетрясения и кометы.

Человек с голубыми кроткими глазами и остроконечной светлой бородкой вежливо, хотя и важно выслушал эти слова. Розамунда, сестра его собеседника, тоже рыжая, но гораздо более мирная, засмеялась восторженно и укоризненно, как смеялись все, кто слушал местного оракула. Оракул тем временем продолжал, упоенный своим красноречием:

— Анархия и творчество едины. Это синонимы. Тот, кто бросил бомбу, — поэт и художник, ибо он превыше всего поставил великое мгновенье. Он понял, что дивный грохот и ослепительная вспышка ценнее двух-трех тел, принадлежавших прежде полисменам. Поэт отрицает власть, он упраздняет условности. Радость его — лишь в хаосе. Иначе поэтичнее всего на свете была бы подземка.

— Так оно и есть, — сказал Сайм.

— Глупости! — воскликнул Грегори, обретавший здравомыслие, как только на парадоксы отваживался кто-нибудь другой. — Почему матросы и клерки в вагоне так утомлены и унылы, ужасно унылы, ужасно утомлены? Потому что, проехав Слоун-сквер, они знают, что дальше будет Виктория. Как засияли бы их глаза, какое испытали бы они блаженство, если бы следующей станцией оказалась Бейкер-стрит!

— Это вы не чувствуете поэзии, — сказал Сайм. — Если клерки и впрямь обрадуются этому, они прозаичны, как ваши стихи. Необычно и ценно попасть в цель; промах — нелеп и скучен. Когда человек, приручив стрелу, поражает далекую птицу, мы видим в этом величие. Почему же не увидеть его, когда, приручив поезд, он попадает на дальнюю станцию? Хаос уныл, ибо в хаосе можно попасть и на Бейкер-стрит, и в Багдад. Но человек — волшебник, и волшебство его в том, что он скажет «Виктория» и приедет туда. Мне не нужны ваши стихи и рассказы, мне нужно расписание

поездов! Мне не нужен Байрон, запечатлевший наши поражения, мне нужен Брэдшоу, запечатлевший наши победы! Где расписание Брэдшоу, спрашиваю я?

— Вам пора ехать? — насмешливо сказал Грегори.

— Да слушайте же! — страстно продолжал Сайм. — Всякий раз, когда поезд приходит к станции, я чувствую, что он прорвал засаду, победил в битве с хаосом. Вы брезгливо сетуете на то, что после Слоун-сквер непременно будет Виктория. О нет! Может случиться многое другое, и, доехав до нее, я чувствую, что едва ушел от гибели. Когда кондуктор кричит: «Виктория!», это не пустое слово. Для меня это крик герольда, возвещающего победу. Да это и впрямь виктория, победа адамовых сынов.

Грегори покачал тяжелой рыжей головой и печально усмехнулся.

— Даже и тогда, — сказал он, — мы, поэты, спросим: а что такое Виктория? Для вас она подобна Новому Иерусалиму. Мы же знаем, что Новый Иерусалим будет таким же, как Виктория. Поэта не умирят и улицы небесного града. Поэт всегда мятежен.

— Ну вот! — сердито сказал Сайм. — Какая поэзия в мятеже? Тогда и морская болезнь поэтична. Тошнота — тот же мятеж. Конечно, в крайности может стошнить, можно и взбунтоваться. Но, черт меня подери, при чем тут поэзия? Чистое,

бесцельное возмущение — возмущение и есть. Вроде рвоты.

Девушку передернуло при этом слове, но Сайм слишком распалился, чтобы ее щадить.

— Поэзия там, где все идет правильно! — восклицал он. — Тихое и дивное пищеварение — вот сама поэзия! Поэтичнее цветов, поэтичнее звезд, поэтичней всего на свете то, что нас не тошнит.

— Однако и примеры у вас... — брезгливо заметил Грегори.

— Прошу прощения, — отозвался Сайм, — я забыл, что мы упразднили условности.

Тут на лбу у Грегори впервые проступило красное пятно.

— Уж не хотите ли вы, — спросил он, — чтобы я взбунтовал вон тех, на лужайке?

Сайм посмотрел ему в глаза и мягко улыбнулся.

— Нет, не хочу, — отвечал он. — Но будь ваш анархизм серьезен, вы бы именно это и сделали.

Воловьѣ глаза Грегори замигали, словно у сердитого льва, и огненная грива взметнулась.

— Значит, — грозно промолвил он, — вы не верите в мой анархизм?

— Виноват? — переспросил Сайм.

— По-вашему, я несерьезен? — спросил Грегори, сжимая кулаки.

— Ну что вы, право! — бросил Сайм и отошел в сторону. С удивлением и удовольствием он увидел, что Розамунда отошла вместе с ним.

— Мистер Сайм, — сказала она, — когда люди говорят так, как вы с братом, серьезно это или нет? Вы действительно верите в то, что говорите?

Сайм улыбнулся.

— А вы? — спросил он.

— Я не понимаю... — начала она, пытливо глядя на него.

— Дорогая мисс Грегори, — мягко объяснил он, — и неискренность, и даже искренность бывают разные. Когда вам передадут соль и вы скажете: «Благодарю вас», верите ли вы в то, что говорите? Когда вы скажете: «Земля круглая», искренни ли вы? Все это правда, но вы о ней не думаете. Такие люди, как ваш брат, иногда и впрямь во что-нибудь верят. Это половина истины, четверть истины, десятая доля истины, но говорят они больше, чем думают, потому что верят сильно.

Она смотрела из-под ровных бровей, лицо ее было спокойно и серьезно, ибо на него пала тень той нерассуждающей ответственности, которая таится в душе самой легкомысленной женщины, — материнской настороженности, старой как мир.

— Так он ненастоящий анархист? — спросила она.

— Только в таком смысле, — сказал Сайм. — Если можно назвать это смыслом.

Она сдвинула темные брови и резко спросила:

— Значит, он не бросит бомбу или... что они там бросают?

Сайм расхохотался, пожалуй, слишком громко для столь безупречного и даже щеголеватого джентльмена.

— Господи, конечно, нет! — сказал он. — Покушения готовят тайно.

Тут уголки ее губ дрогнули в улыбке, и мысль о бестолковости брата блаженно слилась в ее душе с мыслью о его безопасности.

Сайм дошел с ней до скамьи в углу парка, излагая свои взгляды. Дело в том, что он был искренним и, несмотря на элегантность и легкомысленный вид, по сути своей смиренным. Именно смиренные люди говорят много, гордые слишком следят за собой. Он рьяно и самозабвенно отстаивал приличия, он страстно защищал любовь к тишине и порядку и все время чувствовал, что кругом пахнет сиренью. Однажды ему послышалось, что где-то еле слышно заиграла шарманка, и он подумал, что его отважным речам вторит тоненький напев, звучащий из-под земли или из-за края вселенной.

Он говорил, глядя на рыжие кудри и внимательное лицо, и ему казалось, что прошло несколько минут, не больше. Потом он подумал, что в таких местах не принято беседовать вдвоем, встал и, к удивлению своему, увидел, что вокруг никого нет. Все давно ушли, и сам он, поспешно извинившись, вышел из парка. Позже он никак не мог понять, почему в этот час чувствовал себя так, словно выпил шампанского. Рыжая девушка не играла